

Книга для таких, как я

Автор:

Макс Фрай

Книга для таких, как я

Макс Фрай

Миры Макса Фрая

В этой книге собраны тексты, написанные еще в девяностых годах прошлого века для разных интернет-проектов: рубрика Macht Frei в легендарной Газете.ру; книжка-игрушка «Идеальный роман», состоящая из последних абзацев вымышленных книг, жаждущая рассказать простыми словами об очень сложных явлениях. В этой книге Макс Фрай предстает перед нами не столько писателем, сколько страстным читателем, человеком, которому нравилось играть в литературные игры. И вообще играть. Книга содержит нецензурную брань.

Макс Фрай

Книга для таких, как я

© Макс Фрай, текст

© ООО «Издательство АСТ», 2019

* * *

Macht Frei

Записки вымышленного существа: избранные эссе, дзуйхицу и прочие танцы на полях

Автопортрет

Анфас:

Возраст

Не более суток: человек, который просыпается в моей постели каждое утро, не имеет решительно никакого отношения к тому, кто ложился туда накануне. Иногда их связывают общие воспоминания, но они смутны и малозначительны.

Рост

Обладая средним ростом, я почему-то остро ощущаю себя очень высоким человеком – возможно, потому, что в детстве я некоторое время действительно был длинным, гораздо выше большинства сверстников, а потом они как-то незаметно меня догнали и перегнали. Веду я себя, однако, в связи с этим комично.

Инстинктивно пригибаюсь, преодолевая дверные проемы. Инстинктивно же смотрю на собеседника (который вполне может быть на полторы головы выше меня) сверху вниз. Какое-то время назад я еще и сутулился, как сутулятся только очень высокие, нескладные люди.

Мне кажется, что окружающие гораздо ниже меня ростом; лишь зеркала порой знакомят меня с действительным положением вещей.

Странная разновидность высокомерия, однако!

Вес

Я почти ничего не вешу, когда смеюсь. Это открытие сделала моя подружка, девушка далеко не атлетического сложения: рассмешив меня как следует (что несложно), она без особых усилий поднимает мою сведенную судорогой хохота тушку в воздух и переносит с места на место. Думаю, нас с ней уже давно пора показывать за деньги.

Когда я серьезен, я оставляю зловеще глубокие следы на песке. Бойкая старушка с цыганскими глазами и юной гибкой тенью, которая взвешивала всех желающих на людном пляже маленького южного города (пленившись ее призрачным очарованием, я как идиот полез на эти чертовы весы, чтобы доставить ей удовольствие), решила, будто орудие ее труда настиг бесславный конец: я был вызывающе худ, тщедушен и невзрачен, а стрелка весов не менее вызывающе подползала к отметке 90: в тот день я был чрезвычайно озабочен своими запутанными околосердечными делами.

Но когда я смеюсь...

Цвет кожи

Порой я почти уверен, что зеленый. Мало ли, кому что кажется...

Цвет глаз

Не имеет значения.

Я давно пристрастился к темным очкам.

Цвет волос

В детстве я был рыжим. В глубине души я до сих пор рыжий. Как это выглядит со стороны – дело десятое.

Группа крови

Единственный врач, с которым я обсуждал эту тему, с энтузиазмом утверждал, будто бы я – идеальный донор. Типа моя кровь подходит чуть ли не всем без исключения.

Впрочем, он был пьян и в глаза не видел результатов моих анализов.

Род занятий

Иногда я молчу.

Личные связи

«Я тебя люблю, я без тебя жить не могу, не исчезай, пожалуйста», – говорю я себе в самые черные дни. Пока мы все еще вместе.

Особые приметы

Комический, в сущности, персонаж.

В профиль:

А профиль у меня почему-то птичий...

1999 г.

Об «эврисинге», «насинге» и прочих мистификациях

Сам по себе он был Никто; за лицом (не схожим с другими даже на скверных портретах эпохи) и несчетными, призрачными, бессвязными словами крылся лишь холод, сон, снящийся никому.

То, о чем умудрился столь недвусмысленно и лаконично сказать Борхес, было откуда-то известно мне с детства: я всегда знал, что КНИГИ НИКТО НЕ ПИШЕТ (инстинктивное понимание порой мешало мне запоминать фамилии авторов... впрочем, до сих пор мешает). Борхес помог мне поменять слова в этом утверждении местами, сменить детскую наивность на сомнительное глубокомыслие взрослого: теперь я формулирую сей немудреный парадокс иначе: ВСЕ КНИГИ НАПИСАНЫ НИКЕМ. Авторство (то самое, которое оплачивается гонорарами, девичьими поцелуями и брезгливо-снисходительным интересом критики) до смешного случайно. Кажется, я знаю, как это бывает: у меня по столу сейчас разбросан чуть ли не десяток ручек; я то и дело пользуюсь ими, причем беру второпях ту, что лежит ближе, не принимая во внимание цвет, размер и репутацию фирмы-изготовителя на мировом рынке. То же, очевидно, происходит, когда очередная книга решает, что ей пора быть написанной: чья-то невидимая рука (скверная метафора, но другой не нашлось) хватается за первый попавшийся инструмент, каковой потом, когда все будет кончено, станет нахально именовать себя «Автором» и настойчиво требовать всеобщего внимания и каких-никаких привилегий.

Однажды меня спросили, что я думаю о мистификации в литературе. Пришлось признаться, что я уже давно ничего об этом не думаю: я просто живу в эпицентре тумана, то и дело всем телом ощущаю, как вздрагивают серебристые нити моей собственной, худо-бедно сплетенной паутины; литературная мистификация стала для меня обычным побочным продуктом моей жизнедеятельности, чем-то вроде углекислого газа, который выделяется при каждом выдохе. Трудно удержаться от искушения ответить на этот вопрос вопросом: а разве бывает литература БЕЗ мистификации? (Вообще-то, наверное, бывает, поскольку бывает – все; но это случай не из моей практики.) Литератор всегда врет – по определению (возможно, лживость автора прямо пропорциональна кажущейся достоверности текста); ну а мистификация – самый простой способ сделать эту ложь осознанной. Не забываться. Знать свое место. Не питать иллюзий на свой счет.

Литература всегда казалась мне своего рода разновидностью сна (пожалуй, единственной легкоуправляемой разновидностью). Чтение – искусство сновидения для ленивых; писательство, по большому счету, – тем более.

Феномен литературной мистификации для меня – своего рода тренинг, эффективное упражнение, позволяющее нам даже на самом дне этого тихого уютного омута не забывать о других (возможно, куда менее приятных, не поддающихся контролю) снах. И потом... Поскольку автора, по большому счету, все равно нет и быть не может – почему бы не выдумать его самостоятельно? А то ведь свято место пусто не бывает: вместо нас его выдумает кто-то другой – как водится, по своему образу и подобию...

Да, кстати. Литературная мистификация – это еще и возможность в любой момент уйти из литературы тихо, «по-английски», не прощаясь и не хлопая дверью, оставив в заложниках собственный сон, гомункулуса, призрак. Пусть себе караулит опустевший дом...

1999 г.

Власть литературы

Моя добрая приятельница как-то призналась мне, что в юности помнила наизусть отрывок из «Бегущей по волнам» Грина – тот, где говорится о власти несбывшегося. Не зубрила его, мучительно сжав пальцами виски, а просто перечитывала так часто, что слова сами безжалостно отпечатались в памяти, и только время оказалось достаточно крепкой кислотой, способной вытравить надпись, оставив на ее месте маленький белый шрам. Ничего удивительного: кому, как не пожизненному пленнику паутины печатного текста на собственном (не горьком – сладком!) опыте знать о «власти несбывшегося», а моя приятельница – из запойных читателей, из тех злополучных счастливиц, для кого узоры черных значков на белом фоне бумаги – борхесовский Заир, Мандала, бездонная глубина звука «ом», тусклое зеркало, заглянув в темноту которого, принимаешь свое собственное усталое лицо за лик Вечности, из тех, кто никогда не станет отыскивать в хитросплетении этих завораживающих узоров тайное имя Бога – поскольку, кажется, нашел его так давно, что оно уже стало одним из обыденных слов, вроде тех, которые употребляют, чтобы позвать заигравшегося ребенка домой, обедать...

Власть литературы над читателем – это и есть власть несбывшегося. Власть вашего личного несбывшегося над вами – абсолютная, беспощадная и бесконечно желанная. Пока вы лежите на диване, скрючившись в позе

зародыша, с книгой в руках, с вами случается то, чего с вами никогда не случилось – и не случится! – НА САМОМ ДЕЛЕ, но разница между «самым делом» и «не самым делом» не так уж велика для очарованного бумажного странника. Пока он там он ТАМ, все остальное не имеет значения.

Но трагедия читателя в том, что писатель – не маг. Он – просто человек, лукавый пройдоха, ярмарочный фокусник, иногда – замечательный фокусник, великий Гуддини, в крайнем случае – Оз, «великий и ужасный», но не более того. Чуда не будет. Вообще ничего не будет, никогда, потому что чудо должно быть Настоящим, а на Настоящее, с большой буквы, в жизни читателя почти не остается ни времени, ни сил – только на скучное обыденное настоящее, которое с большой буквы не пишется, скорее уж с самой маленькой из букв, оказавшихся в вашем распоряжении.

Наверное, я уже давно знаю, каких фокусов ждут читатели от автора, какие из фокусов они готовы принять за подлинные чудеса... господи, да какое там «наверное», конечно же, знаю, я и сам такой – один из безнадежных, запойных глотателей печатного текста. По крайней мере, я был таким совсем недавно, всего пару лет назад – подумать страшно! Не откажу себе в удовольствии перечислить любимые фокусы читателя – хотя бы для того, чтобы испытать сладость предательства, закладывая с потрохами товарищей по несчастью.

Три фокуса с зеркалом

Самые необходимые, любимые всеми читателями фокусы, они обязательно должны быть в арсенале любого писателя – впрочем, читатели настолько без ума от фокусов с зеркалом, что безупречность исполнения от автора не требуется: читатель готов закрыть глаза на некоторую неловкость очередного иллюзиониста, он с удовольствием вам подыграет, вот увидите!

Первый фокус с зеркалом

«Покажите мне меня, любимого, во всей моей красе!» – просит читатель. Вот, собственно, и все, что от вас требуется. Книга – волшебное зеркало, в котором читатель отчаянно ищет собственные мысли, опыт, схожий со своим, жизнь, описанную так, как он это себе представляет. Более того, читатель ждет от

писателя авторитетного подтверждения, что его мысли – гениальны, его понимание жизни – единственно верное, его опыт – всеобъемлющ, то есть он – самый-самый-самый... (эпитеты по вкусу). Интеллектуал, теребящий «Маятник Фуко», и среднестатистический лох, уткнувшийся в очередной том эпопеи о «Бешеном», были бы потрясены, узнав, насколько они похожи. Но эти двое действительно почти близнецы, они в одной лодке – люди вообще отличаются друг от друга гораздо меньше, чем им хотелось бы! Оба сосредоточенно пялятся в мутное зеркало, пытаюсь отыскать там свое собственное восхитительное отражение, а зеркало – оно и есть зеркало, вне зависимости от качества полировки и размеров рамы, так что даже охотники за литературными шедеврами на самом деле охотятся не за самими шедеврами: в глубине зеркала они видят свой собственный вдохновенный профиль, изысканно склонившийся над книгой, постичь которую суждено только лучшим из лучших, а значит я – ах! – один из них... Самое смешное, что, отыскав в книге доказательства собственной исключительности (или притянув их за уши), читатель чувствует себя почти счастливым – на какое-то время. Потом он со свежими силами принимается за поиск новых доказательств с очередной книгой в руках. Автор этих строк сам неоднократно испытал на себе очарование этого, в сущности, незамысловатого фокуса, его первой (а может быть, не первой, но самой большой) любовью когда-то стал Борхес, и даже сейчас, открывая в метро «Хазарский словарь» Павича, он смущенно понимает, что опять попался...

Второй фокус с зеркалом

Иногда читатель просит: «Пожалуйста, покажите мне, какой я плохой!» Вариант: «Покажите, как плохо я живу и как еще хуже живут все остальные, бедные мы, бедные!» Удовольствие не только для мазохистов. Во-первых, в топку чувства собственной важности какое полено ни кинь – все одно вспыхнет: хорошая порция пороков или страданий делает нас исключительными и незаурядными персонами (по крайней мере, в собственных глазах), а во-вторых, большинство людей почему-то уверены, что признаться себе в собственных слабостях – уже значит измениться, а приняв на грудь хорошую порцию чернухи, можно обнаружить, что, пока ты читал, реальная жизнь успела стать вполне прекрасной и умеренно удивительной. Опыт тысячелетий, впрочем, утверждает обратное, мой собственный – тоже, как это ни обидно: в свои семнадцать лет я подолгу наслаждался в меру изысканным самобичеванием над полным собранием сочинений чудовищного солнышка русской литературы Федормихалыча – а толку-то! К счастью, сей кайф уже давно не про меня...

Третий фокус с зеркалом (кривым)

Простой и самый эффектный трюк: «Покажите мне меня иного и, если можно, лучше, чем на самом деле!» От писателя тут и вовсе почти ничего не требуется, только вынь да положь главного героя, с которым было бы приятно отождествиться всему читательскому поголовью, а уж отождествляться оно будет совершенно самостоятельно. Из кривого зеркала на читателя смотрит чужое лицо, которое, тем не менее, чертовски приятно некоторое время считать своим собственным. Хладнокровный супермен, не теряющий чувства юмора, непременно любимец женщин, обремененный парой-тройкой врагов-злодеев, с которыми так приятно расправиться на пути к счастливому финалу, или дамский вариант: красивая, роковая, чувствительная странница по враждебному миру мужчин и стервозных подруг – дешево и сердито. «Идеальным героем» может оказаться не только личность, но и целая нация, к которой, разумеется, принадлежит совершенно восхищенный этим незамысловатым фактом читатель: поток чудовищной славянской героики в жанре фэнтези, пользующийся известным коммерческим успехом, заставляет меня со вздохом убедиться в собственной правоте. Обслуживание по высшему разряду: для того, чтобы осознать себя представителем очередной «великой нации», не требуется даже крупницы воображения, достаточно соответствующей отметки в «пятой графе» – а если она не «соответствующая», значит, следует просто поискать другую книжку, в которой воспевается именно ваш «пятый пункт». Холодных интеллектуалов вышперечисленной дешевкой, разумеется, не проймешь, ну и бог с ними: не так уж их много, да и для них можно подобрать соответствующий «светлый образ», было бы желание! Некоторым писателям даже нравится работать на «элитарную» – читай: немногочисленную – аудиторию. Так что любой читатель рано или поздно обретет свое «кривое зеркало», в котором отражается дивный лик, каковой вполне можно принять за собственную рожу, и наконец-то так легко полюбить это чужое отражение любовью, которой никогда не хватало на себя неприукрашенного...

Фокус «какая у людей жизнь интересная!»

Здесь все так просто, что плакать хочется. Вместо того чтобы попытаться сделать интересной свою собственную жизнь – а это хлопотно, небезопасно и вообще непонятно: с чего следует начинать? – заядлый читатель с удовольствием проживает множество чужих интересных жизней. Такой

читатель не слишком озабочен поиском собственного отражения, вышеописанные ФОКУСЫ С ЗЕРКАЛАМИ ему ни к чему, он просто с головой ныряет в увлекательную иллюзию и барахтается там, пока не приходит время идти на работу. Разделяя порочную, но вполне бескорыстную любовь большей части человечества к этим безопасным (и бесполезным) снам наяву, автор этих строк содрогается, подсчитывая потраченные впустую часы своей единственной, неповторимой и катастрофически короткой жизни. Иногда его нервы не выдерживают, и он выскакивает из дома в душистую темноту августовской ночи – искать приключений на свою задницу. Ничего особенного во время этих прогулок обычно не случается, и все же...

Фокус с морковкой

О, этот фокус – один из самых изысканных (боюсь, и один из самых безнравственных)! Технология та же, что и в случае с настоящей морковкой, болтающейся перед мордочкой бедняги ослика. Обещайте! Обещайте своему читателю, что, прочитав книгу, он станет лучше, умнее и проникательнее, он узнает ТАЙНУ, и длинноногие девушки будут зачарованно смотреть ему в рот, временами он будет изрекать нечто такое, что и отдаться не грех. Обещайте ему, что, открыв вашу книгу, он автоматически присоединится к числу «избранных», «посвященных», своего рода «масонской ложе» – в отечественной литературе братьям Стругацким это удалось как никому другому, и их вдохновенные адепты до сих пор узнают друг друга по цитатам: иногда эти бедняги без запинки цитируют целые абзацы! Обещайте, что после вашей книги жизнь читателя переменится к лучшему и наконец станет такой, какую он, вне всякого сомнения, заслуживает. Одним словом, обещайте читателю хоть что-нибудь. Он поверит вашим обещаниям, потому что он очень хочет им верить... Да, только не вздумайте обещать открытым текстом: такие штучки проходят только с откровенными дебилами!

Фокус с «запретным плодом»

Побольше пишите о том, что будоражит воображение доверчивых недотеп, которых уже давно до тошноты укачало от размеренного ритма будничного бытия. Горемычным героям ваших книг придется трахаться в самых замысловатых позициях на протяжении бессмысленно долгих часов. Им также придется напиваться до белой горячки и принимать наркотики, желательно какие-нибудь труднодоступные – саги об употреблении клея «Момент» почему-

то не возбуждают никого, кроме любителей откровенной чернухи, для каковых у нас припасен ВТОРОЙ ФОКУС С ЗЕРКАЛОМ – если еще не забыли. Герои ваших книг проделывают что-то в этом роде? В таком случае все остальное не имеет особого значения: вы можете всучить читателю шедевр или абсолютную парашу. При желании список «запретных плодов» можно продолжить, но это уже без меня: не творческий я все-таки человек, ничего путного в голову не приходит! В общем, не стоит забывать о том, что по этой прекрасной земле ходят настоящие живые люди, которые на полном серьезе полагают, к примеру, что Кастанеда писал исключительно о наркотиках, роман Пелевина «Чапаев и пустота» – это о том, что будет, если смешать водку с кокаином, и (а как же!) «про грибочки», «Заводной апельсин» хорош потому, что его герои пьют в своем молочном баре нечто невнятно-запретное, etc. Даже автор этих строк в свое время с изумлением обнаружил – заметьте: из издательской аннотации! – что в его книжках (таких невинных, что любителям «запретных плодов» даже смотреть в их сторону должно быть противно!) то и дело звучат «заклинания подвыпивших колдунов» – а ведь мои персонажи ведут такой здоровый образ жизни, словно непрерывно готовятся к ответственным спортивным соревнованиям, только иногда выбиваясь из этого жесткого режима, чтобы как следует подкрепиться. Одним словом, среди читателей то и дело попадается рыбка, которая охотно клюет на любую пикантную наживку (то ли потому, что в ее собственной жизни не хватает очаровательных пороков, то ли чтобы по-детски оправдать собственное саморазрушительное поведение солидарностью с героями любимых книг: «Карлсон ест много варенья, значит, и мне можно!»). А если есть рыбка – почему бы и не порыбачить?!

P. S. (Только для читателей.)

Ребята, не берите в голову. Вы – соль земли, и пока вы бестолково шляетесь по иллюзорным миркам, ненадолго извлеченным из старой шляпы пройдохифокусника, в нашей глупой писательской жизни есть хоть какой-то смысл.

1997 г.

2 ? 2 = 4 цикла

Историй всего четыре, – авторитетным тоном опытного провокатора заявил однажды Хорхе Луис Борхес. И невозмутимо разъяснил: одна, самая старая, об укрепленном городе, который штурмуют и обороняют герои. Защитники знают, что город обречен мечу и огню, а сопротивление бесполезно; самый прославленный из завоевателей, Ахилл, знает, что обречен погибнуть, не дожив до победы. <...> Вторая история связана с первой, – о возвращении. Об Улиссе, после десяти лет странствий по грозным морям и остановок на зачарованных островах приплывшем к родной Итаке, и о северных богах, вслед за уничтожением земли видящих, как она, зеленея и лучась, вновь восстает из моря. <...> Третья история – о поиске. <...> Это Ясон, плывущий за Золотым руном, и тридцать персидских птиц, пересекающих горы и моря, чтобы увидеть лик своего бога – Симурга. <...> Последняя история – о самоубийстве бога. Аттис во Фригии калечит и убивает себя; Один жертвует собой Одину, самому себе, девять ночей висит на дереве, пригвожденный копьем; Христа распинают римские легионеры.

Так говорил Хорхе. И лукаво резюмировал: и сколько бы времени нам ни осталось, мы будем пересказывать их – в том или ином виде. Приговор, однако, подлежит обжалованию – здесь и сейчас. Всего четыре истории, говорите?

О да, историй всего четыре, но это совсем другие истории. Одна (возможно, самая старая) – это история о побеге (состоявшемся или не состоявшемся – не имеет значения, поскольку это история о шансе совершить побег). История о двери в стене, с вашего позволения. О «Зеленой двери в белой стене», которой всю жизнь грезил бедняга Уоллес, и о двери, нарисованной на холсте в каморке Папы Карло (можете сколько угодно твердить, что «Буратино» – ремейк «Пинноккио», я же склонен полагать, что Толстой передрал свою сказку у Герберта Уэллса, только снабдил ее однозначным хэппи-эндом). Дверь, ведущая КУДА-ТО (именно дверь, и ничто иное), венчает безысходный, типично пелевинский хэппи-энд в «Омоне Ра». Для несчастных любопытных жен Синеи Бороды попытка открыть некую дверь закончилась смертью (этот сюжет с открыванием запретной двери кочует по сказкам народов всего мира, причем попытки подсчитать смертельные исходы и чудесные избавления наводят меня на мысль, что шансы примерно 50 на 50 – не так уж плохо!). Открывший дверь рискует головой (мистера Уоллеса тоже нашли мертвым, да и Буратино не раз был на волосок от гибели), но ставки высоки, потому что за дверью – полная неизвестность и Земля Обетованная в одном флаконе. Резюмирую: по большому счету, моя первая история – это история о побеге ОТСЮДА.

Вторая история, как и у моего оппонента, отчасти связанная с первой, – это история о превращении в нечто иное. Нильс становится гномом прежде, чем отправиться в путешествие (поэтому не пытайтесь убедить меня, что его история – это «история о возвращении»). Муми-тролль ненароком залезает под шляпу Волшебника и становится худым пучеглазым монстриком с облезлым хвостом; Лев Абалкин мечется по «местам боевой славы», отчаянно цепляется за прошлое, в надежде предотвратить неизбежность необратимых перемен; зануда Гарри Галлер превращается в легконогого танцора фокстротов, а симпатяга доктор Джекил превращается в отвратительного мистера Хайда.

Третья история – о появлении двойника. Можно считать ее модернизированным вариантом предыдущей. Стивен Кинг, у которого настоящее чутье на подлинные, потаенные, первородные страхи, пишет роман «Темная половина», Мэри Шелли создает (вернее, констатирует) «Теорию виртуальной личности», Владилен Татарский в торжественной обстановке обзаводится высококачественным и дорогостоящим двойником в связи с трансцендентальным повышением в должности, а сам Хорхе Луис пишет потрясающее эссе «Борхес и я» – лаконичное, убаюкивающее и чудовищное.

Последняя история – о заигравшемся игроке. Достоевский знал, о чем пишет: личный опыт, как-никак. На первый взгляд может показаться, что внутренние проблемы Магистра Игры Кнехта несоизмеримо тоньше, но, по сути, эти двое – в одной лодке: оба игроки, творцы Игры и ее невольники. В древний, отягощенный беспощадными правилами вариант «Что? Где? Когда?» играют жадные до знаний скандинавские боги и прочие герои обеих Эдд – а как еще можно определить их бесконечные, бессмысленные вопросы и ответы?! (Причем один собеседник то и дело вопрошает другого о том, что ему самому уже давно известно.) Хулио Кортасар пишет своеобразную книгу-пазл, «Игру в классики», а Милорад Павич – книгу-кроссворд «Пейзаж, нарисованный чаем». Великим любителем, знатоком и мастером интеллектуальной игры – и, чего уж греха таить, зачинщиком и подстрекателем! – был сам Хорхе Луис Борхес. Этот перечень, как и все предыдущие, стремится к бесконечности.

Борхес прав: историй всего четыре. У каждого – свои «четыре истории». И что бы мы ни читали, мы всегда найдем способ читать очередную версию той истории, которую готовы понять и принять; мы не полезем в карман за аргументами и спекуляциями и не постесняемся притянуть за уши любые доказательства своей правоты. «И сколько бы времени нам ни осталось, мы будем пересказывать их – в том или ином виде». Ныне и во веки веков. Аминь, камарадос.

1999 г.

Колеблющийся мир Роберта Ирвина

«Арабский кошмар» Роберта Ирвина, если верить лукавому утверждению автора, – «повествование, предназначенное для чтения в постели».

Повествование, предназначенное для чтения во сне, – добавлю я. В высшей степени приятно оно, как я обнаружил, когда лежишь, подперев книгу коленями, чувствуешь, как тяжелеют веки, и уносишься в сон, уносишься далеко-далеко, да так, что поутру трудно понять, где кончилось содержание книги и начались сновидения.

В 1983 году английский историк-медиевист Ирвин, чей затемненный портрет на последней странице обложки может принадлежать кому угодно, написал своего рода путеводитель по сновидениям Каира конца XV века. Навигатор по Алям-аль-Миталю.

Навигатор сей был переведен на русский язык и издан еще в 95-м году, но ускользнул от внимания большинства читателей, затаившись под непритязательной глянцевой обложкой, сулящей доверчивому покупателю «мистику, эротику и детектив» – как водится, в одном флаконе. Хотелось бы мне знать, на какой странице бросали чтение доверчивые соискатели легкого литературного «щастья»: уже на первой или все-таки дотягивали хотя бы до пятнадцатой?

Я сам купил эту книгу с легкой руки Михаэля Шенброда, бывшего художника журнала «Пушкин» и сайта «Литература». «Пушкин» давно закрылся, старая, добрая, наивная темно-синяя «Литера», украшенная стильными изображениями камней и кактусов, погребена в архивах, Мишка теперь живет в Берлине и не отвечает на письма старых друзей, зато его улыбчивый двойник служит Мастером Чайной Церемонии в «Железном Фениксе», стережет нежные лепестки улуней от некомпетентных дегустаторов – во сне или наяву я его там встречаю, бог весть...

Самое забавное, что «сладкие обещания» на обложке предыдущего издания «Арабского кошмара» не так уж и лгут. В книге действительно хватает места и

мистике, и эротике, даже некое подобие детективного (вернее, все-таки авантюрного) сюжета имеет место. Главный герой, англичанин по фамилии Бэльян, входит под свод городских ворот Каира, закутавшись в плащ паломника и отягощенный некоей шпионской миссией, суть которой, боюсь, не совсем ясна даже ему самому.

Великодушно одаривая читателя россыпями подробных и обстоятельных псевдо-объяснений, автор не объясняет ничего. Пересказать «Арабский кошмар» практически невозможно – как невозможно пересказать сон, воспоминания о котором просачиваются сквозь пальцы, как прохладная вода. 18 июня 1486 года очередной караван приблизился к стенам Каира, первые Врата Сновидения распахнулись.

Как и его итальянский коллега Умберто Эко, с коим его нередко (и почти всегда некстати, довольствуясь поверхностным контекстуальным сходством, обусловленным принадлежностью обоих к новому жанру «интеллектуального action») сравнивают критики, Роберт Ирвин подкармливает не только разум и воображение читателя. Он делает нечто большее: будит в интеллектуале ребенка и позволяет тому вволю порезвиться на просторах текста. Драматическое отличие ребенка от взрослого, собственно говоря, состоит в следующем: ребенок живет в «колеблющемся мире», законы которого ему неизвестны и постигаются по мере необходимости, навязанной обстоятельствами; мир взрослого статичен, регламентирован, снабжен многочисленными комментариями и полезными в хозяйстве «сносками». Неожиданность, необычность, инородность, все смыслы волшебного английского слова «strange» – нормальное явление в жизни ребенка, но взрослого эти факторы эффективно выбивают из колеи. Собственно, любой исторический роман в идеале должен бы способствовать возвращению читателя в «колеблющийся мир» детства, поскольку вынуждает его погрузиться в незнакомый контекст, не прошедший «испытания» личным опытом. Но на практике это происходит весьма редко: читатель интуитивно чувствует в авторе «равного» – человека, который в свое время так же боялся «поплыть» на экзамене по истории. Читатель (часто бессознательно) догадывается, что сведения о давно минувшей эпохе автор черпал в общедоступном источнике: в энциклопедиях, учебниках, в лучшем случае – в зале публичной библиотеки, в худшем – из других исторических романов. Особая, «профессорская», магия текстов Эко и Ирвина, которые, подобно чародею-крысолову, уводят нас в колеблющийся (незнакомый, странный, враждебный, необъяснимый и лукаво откомментированный, но пугающе, чарующе достоверный) мир гипотетического «прошлого», отчасти – следствие их фундаментального образования. Мы

чувствуем, да нет, какое там – мы сразу понимаем, что они ЗНАЮТ историю. И поэтому – импровизируют. Невозможно стать хорошим шулером, не изучив правил игры – затем, чтобы потом нарушать их в свое удовольствие. Но если Эко – гениальный фокусник большой прозы, то Ирвин (хочет он того или нет) настоящий шаман – явление в литературе редчайшее, поскольку литератор по долгу службы обязан насыщать текст смыслом, а оружие шамана – ритм, уводящий в сторону. В «Нижний Мир». В Алям-аль-Миталь.

Человек, страдающий Арабским кошмаром, ворочается и всхлипывает.

Если книга поначалу покажется вам скучноватой, не спешите откладывать ее в сторону. Эта скука того же божественного свойства, что и шум прибоя, стук дождя по оконному стеклу, шорох песка за полотняной стеной палатки. Расслабьтесь, отдайтесь ее ритму, ничего не требуйте. Подремлите, не закрывая глаз, позвольте автору взять вас в Александрию своих снов.

«Смешалось все», и устами карлика Барфи (или Ладу?) я говорю призраку, который увязался за мной, когда я пытался вернуться из тревожного «Нижнего Мира», с «Темной стороны» Каира: «А знаешь, я сейчас проснулся и не мог понять, кто я такой. Так и лежал в темноте, безликий и безымянный. Я даже подумал, что, быть может, я – это ты! Такова была степень моего смятения после пробуждения от снов, что я не мог припомнить ни одной черты, которая отличала бы меня от тебя».

– Проснись, – сказала Обезьяна. – Я хочу рассказать тебе еще одну историю. Но сначала дай мне напиток. Я изнемогаю...

– Мне приснился странный сон, – признался я Обезьяне, протягивая ей тяжелый медный кувшин с подслащенной водой. – В этом сне я писал эссе, посвященное твоим историям, только мне снилось, что это – не просто истории, а книга какого-то англичанина... Знаешь, неплохое получилось эссе! Тебе бы понравилось.

– Ну да, конечно! – саркастически хмыкнула Обезьяна. – Тебе по-прежнему не дают покоя пустые фантазии о какой-то писанине... Просыпайся! Слышишь? Просыпайся!

1999 г.

Внутренняя Мумитроллия

Я до сих пор влюблен в эту женщину. Я влюбился в нее давно и безнадежно – с того дня, когда мне стало известно, что Туве Янссон – не безликое «оно» (к этому неопределенному полу мой безапелляционный детский разум огульно причислял всех иностранных писателей, чьи имена и фамилии не были наделены узнаваемыми для русского уха «первичными половыми признаками»), а женщина. Я мечтал о том, как «вырасту большой» и непременно женюсь на сказочнице со странным именем Туве, мы будем жить вместе и есть исключительно оладьи с малиновым вареньем, иногда – ходить в гости к муми-семейству (я ни секунды не сомневался, что муми-тролли действительно проживают в Муми-доле, просто туда, скорее всего, довольно затруднительно попасть, потому что надо ЗНАТЬ ДОРОГУ, но уж Туве-то ЗНАЕТ ДОРОГУ), а по ночам... по ночам она будет шепотом рассказывать мне сказки: те, которые ей было лень записывать, и поэтому ни в каких книжках их нет. Да, именно так и представляешь себе счастье в восемь лет...

Много лет спустя я увидел автопортрет Туве Янссон в окружении ее странных маленьких героев. У этой худенькой женщины мальчишеское лицо так и не повзрослевшего Питера Пэна, непокорная копна кое-как подстриженных волос, почти незаметная улыбка и печальные, но строгие глаза усталого ангела. Я всегда откуда-то знал, что именно так она и выглядит...

Сказки Туве Янссон, при всей своей внешней простоте, заковыристы и сюрпризносны необычайно. Глубоки и философичны, пардон за неуместный пафос. Мировоззренческая система автора с трудом поддается формулировке, и с еще большим трудом – претворению в жизнь. Истории о муми-семействе немного напоминают китайские легенды о святых даосах – истории без морали, без поучений и «оргвыводов», только тихая констатация факта: «И так бывает», – счастливый вздох и доверчивый взгляд, устремленный в холодное небо.

Начать с того, что в сказках Туве Янссон напрочь отсутствует примитивная бинарная логика, столь характерная для детской (и, увы, не только детской) литературы. Проще говоря, среди ее героев нет отрицательных – ни одного. Вернее, ни одного из героев Янссон даже непримиримый детский разум не

сочтет безнадежно отрицательным – разве что забавным. Хотя, если разобраться, многие из них ведут себя в высшей степени отвратительно: взять хотя бы того же Сниффа – вроде бы маленькая ничемная мерзость и ничего больше. Алчное, неумное, трусливое и в то же время чрезвычайно амбициозное создание. И если бы только Снифф! Занудный нытик и вечный коллекционер Хемуль, старый склочник Ондатр, зловредная малышка Мю и угрюмая, изнывающая от бесконечной жалости к себе Миса (последняя пара персонажей появляется в сказке «Опасное лето») – именно такие типы и портят нам жизнь, их девиз: «Ни дня без стакана крови ближнего своего» (если у вас есть возражения, значит, вы живете в общежитии для ангелов). Но – странное дело! – члены муми-семейства никого не осуждают, не раздражаются, не пытаются избавиться от них, как от напасти, а принимают – такими, какие есть. Они стратегически выстраивают свои отношения со Сниффом, Ондатром, Хемулем и прочими с учетом их многочисленных слабостей – таким образом, чтобы эти «несовершенные существа» чувствовали себя счастливыми. Чего греха таить: в каждом из нас притаился свой «внутренний Снифф» (а также «внутренний Ондатр», «внутренняя Миса» etc.), и мудрая маленькая финнка по имени Туве не только осознает этот печальный факт, но и дарит своим читателям действенные рецепты их укрощения. И главный (самый действенный и самый трудноосуществимый) из этих рецептов: принять себя таким, какой ты есть, смириться с собой и в самый черный свой день подмигнуть собственному отражению в зеркале – если не с любовью, то с искренней симпатией.

Герои Туве Янссон легко и с удовольствием переживают не только забавные приключения, описанные в «Шляпе Волшебника», но и настоящие катастрофы. Они с радостью встречают наводнение («Опасное лето») и не упускают случая воспользоваться им как поводом отправиться в путешествие, завести великое множество новых друзей и вообще оттянуться на полную катушку; мудрая, как очередная инкарнация Будды, и суетливая, как всякая настоящая женщина, Муми-мама печет торт накануне конца света («Комета прилетает») и организует транспортировку бесчисленного множества ненужных вещей в безопасное укрытие (мне пришлось здорово повзрослеть, чтобы оценить безжалостную иронию Туве Янссон). Маленькие существа из Муми-дола испытывают печаль, когда понимают, что комета сожжет землю, но они не трясутся от страха и не устраивают пафосных прощаний с жизнью, а деловито обставляют своим трогательным хламом уютную пещеру, где спокойно и с присущим им очаровательным гедонизмом проводят вечер, а потом мирно укладываются спать. Все суета сует. Ничто не имеет особого значения в Муми-доле – даже огненная комета... Вот такой вот «муми-дзен».

Невозможно писать о сказках Янссон и не упомянуть Снусмумрика, любимого героя «продвинутой молодежи» моего поколения (здорово подозреваю, что не только моего, но все же поостерегусь расписываться за других). Дочка скульптора, девочка из бедной, но бесконечно счастливой богемной семьи, Туве отлично знает (чувствует), что настоящему мужчине не нужно ничего, кроме шляпы, губной гармошки да курительной трубки. И товарищей, конечно.

Все мужчины пируют, и они между собой товарищи, которые никогда друг друга не предают. Товарищ может говорить тебе ужасные вещи, но назавтра все это забыто. Товарищ не прощает, он только забывает, а женщина – она все прощает, но не забывает никогда. Вот так-то! Поэтому женщинам пировать нельзя. Очень неприятно, если тебя прощают. Товарищ никогда не говорит ничего умного, что стоит повторять на следующий день. Он только знает, что теперь ничего такого важного нет.

Черт, она действительно все понимает. Абсолютно все. Каким, оказывается, мудрым я был в восемь лет, когда мечтал на ней жениться!

И еще немного правды о Снусмумриках. Всю свою жизнь Снусмумрик мечтал сорвать таблички, запрещавшие все, что ему нравилось, и теперь дрожал от нетерпения. Наконец-то! Он начал с таблички «Курить воспрещается!» Затем схватил табличку «Запрещается сидеть на траве!» Потом полетела в сторону табличка «Запрещается смеяться и свистеть!» А вслед за ней отправилась табличка «Запрещается прыгать!»

Такие дела. По большому счету, именно этим я сам всю жизнь и занимался: по мере своих скромных сил «срывал таблички». Курил, сидел на траве, смеялся и свистел. И прыгал. Ох, как же я прыгал! До сих пор прыгаю, собственно говоря. А чтобы прыгать было легче, старался не отягощать свои карманы всяким барахлом... разве что курительная трубка и губная гармошка куда же без них?!

Эта северная колдунья с лицом умного ребенка, скульпторская дочка, художница, несколько лет жизни которой прошли на почти необитаемом северном острове, – крупный специалист по снусмумрикоподобным. Она видит нас как на ладони и с удовольствием посмеивается над нами – ничуть не меньше, чем над Муми-мамой, которая пытается спасти новую ванную, занавески и примус накануне конца света (хотя и хатифнатту понятно: мудрое сердце сказочницы принадлежит нашему брату и никому другому). Возможно, Муми-дол (или Муми-дален) был заботливо сконструирован Туве в качестве

такого специального полезного места, где Снусмумрику легко выжить. Заповедник, так сказать... Хмурая девочка, которая в детстве обожала придумывать страшные сказки для робких сверстников и сама содрогалась, оказавшись во власти собственных могущественных и мрачных фантазий (покончив со сказками, непременно почитайте главы из автобиографической повести «Дочь скульптора», вам предстоит здорово удивиться!), стала взрослой и поняла, что «змей, живущих в плюшевых коврах», в этом мире и без нее предостаточно. А «светлых узоров», по которым следует ходить, чтобы избежать опасностей, несколько меньше, чем хотелось бы. И тогда она придумала Мумидол и удалилась туда чем не «Внутренняя Монголия»?!

Не имеет значения, зачитывались вы в детстве сказками Туве Янссон о мумитроллях или нет. Никогда не поздно попробовать. Милорад Павич не зря писал, что всякую книгу следует читать дважды: в первый раз, когда ты моложе автора, и снова – когда становишься старше.

Приятного путешествия во внутреннюю мумитроллию! Возвращаться, кстати, не обязательно.

1999 г.

Морра пришла

Жизнь – это остров скорби и печали,

не успеешь век прожить,

тут и смерть пришла

поминай, как звали!

В среду, 27 июня 2001 года, умерла Туве Янссон, хрупкая скандинавская фея, нечеловечески красивая, умная и, судя по настроению ее «взрослых» рассказов, бесконечно одинокая женщина. Добрые волшебницы смертны, и это хреново,

потому что на них, в некотором смысле, держится мир. Мой мир, по крайней мере. На ком/чем держатся ваши версии обитаемой реальности, судить не берусь.

Туве Янссон умерла. Писать по этому поводу высокопарное подобие олитературенного некролога было бы глупо: вполне в духе Хемуля. Изводить читателя сентиментальными воспоминаниями о том, как мне в руки впервые попала книжка Туве Янссон (это была «Шляпа волшебника», коли уж к слову пришлось), тоже не стану, дабы не вышла ненароком невольная пародия на мемуары Муми-папы. Есть соблазн истерично взвизгнуть, как сделала бы на моем месте Малышка Мю: «а потом мы все умрем!» – но преодолю и это искушение. А для оптимистического заявления, подобающего совершенномудрому Снусмумрику: «Смерть – это просто бесконечное путешествие, и теперь наша милая Туве наконец-то погуляет как следует», – у меня нынче ночью не хватает мужества. Да и не знаю я пока, что такое смерть, хоть и ощущаю постоянно ее легкое дыхание где-то поблизости. Наверное, оно сопровождает всякого, кто, «земную жизнь пройдя до половины», все еще сохранил каким-то чудом младенческую остроту восприятия.

Туве Янссон умерла, и я сегодня всю ночь думаю о смерти, хотя моя обычная норма – полчаса в сутки, не более (а порой, когда выдается особенно счастливый день, можно ограничиться несколькими минутами). Мне здорово не по себе: словно бы Морру увидел, ей-богу.

Я эгоистичен, как Снифф, и Туве Янссон была нужна мне живой, потому что она каким-то образом стояла между мной и смертью. Тут вот ведь какое дело: пока у человека живы родители, он почти не ощущает собственной смертности; сироте же нужно быть на редкость бесчувственным бревном, чтобы продолжать полагать себя бессмертным. Действие механизма почти неопишимо, просто когда мама и папа умирают, оказываешься словно бы на сквозняке, будто жизнь прохудилась и из всех щелей дует вечность. Я не знаю, почему это так, знаю лишь, что это действительно происходит.

Мои родители умерли уже давно, и я почти привык «стоять на сквозняке»; впрочем, до сих пор меня прикрывала хрупкой своей спиной маленькая северная колдунья, женщина с лицом Питера Пэна, сказочница, много лет прожившая на необитаемом острове, всенасветомогущая, как полагал я в детстве, хоть и не читал тогда изобретшего эффектнее сие словечко Тутуолу. Ничего удивительного: когда я был очень маленьким, Туве Янссон значила для меня

куда больше, чем родители. Ее не было рядом, но я лепил себя по ее образу и подобию; я хотел быть похожим на нее, ибо по малолетству полагал, что наградой за тяжкий духовный труд станет пропуск в Муми-дол; и попробовал бы кто-нибудь заявить, будто священное это место – литературный морок, фата-моргана бессмысленная, опиум для несовершеннолетнего народа... Гнев мой был бы ужасен.

Но теперь это больше не имеет значения: Туве Янссон умерла, и сходство, которое я на протяжении многих лет насильственно навязывал своему сердцу и (куда менее успешно) лицу, теперь лишь очередное напоминание о том, что я смертен. В плюшевых коврах действительно живут змеи, вокруг любого катка непременно обнаруживается кольцо черной воды, а в музее восковых фигур видно, как легко можно уничтожить людей. Что ж, приму во внимание.

Потому что, как писала сама Туве: никто не может быть в чем-то уверен, и поэтому так важно вовремя поискать надежное убежище.

Так-то.

2001 г.

Португальский сплин

«Философские фантазии парижского празднующегося» – так сам Бодлер хотел назвать свои стихотворения в прозе. И действительно, пока мы переворачиваем страницу за страницей, наше воображение услужливо рисует незамысловатые эскизы походов «образа автора»: безработный и почти безденежный, то одурманенный опиумом, то страдающий от похмелья, он таскается по Парижу, иногда экзальтированно восхищается его улицами, но чаще морщит нос от отвращения, то и дело натываясь на несуразные мерзости городского бытия; рассеянно заворачивает к очередной подружке (а они у Бодлера все как на подбор, сильно пьющие, безумные и с тяжелым характером); исподлобья косится на встречных, то и дело некстати поминает склоки с коллегами (ясен пень, беспросветно бездарными и напыщенными). Грустно, забавно и не слишком актуально, правда?

Но что-то подсказывает: все это не то, не так, не о том. Все неправильно! Убогое воображение сдается и отправляется на заслуженный отдых, уступая место читательскому чутью. «Парижский сплин» – это нечто гораздо большее, чем «философские фантазии празднующегося», пусть даже и «парижского». Готье писал, что Бодлер «схватил и уловил нечто, не поддающееся выражению». Так точно. Схватил. Уловил. Осмелюсь добавить: из этого «нечта» Бодлер ухитрился построить мост между... Нет, не все так просто, тут без лирического отступления не обойдешься.

Моя подружка учит португальский язык. В воскресенье вечером, за полчаса до заката, мы встретились на Патриарших прудах. Дул теплый ветер, у меня были очки с желтыми стеклами, у нее – с розовыми, и мы рассматривали небо, то и дело меняясь очками.

– В португальском языке есть потрясающее слово: «солдада», – вдруг сказала она. (Я не знаю, как пишется это слово по-португальски, поэтому ограничиваюсь воспроизведением русской транскрипции; ударение, кстати, на предпоследнем слоге.)

Перевод отнял у нас примерно четверть часа, обсуждение – остаток вечера. Чтобы объяснить значение слова «солдада», надо вспомнить так называемую «эпоху великих открытий», многие из которых были сделаны именно португальскими мореходами.

Можно было бы сказать, что состояние, которое испытывает человек, вот уже три месяца пребывающий на колеблющейся палубе корабля, когда родной берег остался так далеко позади, что вернуться туда уже невозможно (для этого попросту не хватит запасов воды и продовольствия); а в существование какого-то иного берега уже невозможно поверить (потому что пропал веселый энтузиазм, охватывающий странника в самом начале пути) – и есть «солдада». Но нет, это еще не все.

Устав болтаться между прошлым и полной неизвестностью (вместо привычного «между прошлым и будущим»), путешественник начинает испытывать ненависть к своим спутникам – без причины и даже без повода. Но он терпит, стиснув зубы, и не затевает свару, потому что знает: корабль сейчас подобен пороховой бочке и никто не пожелает стать безумцем, высекающим искры. И еще он знает, что стоит ногам оказаться на твердой земле, и все пройдет: ненавистные чужаки снова покажутся ему добрыми товарищами по странствию в пленительную

неизвестность. Поэтому на корабле воцаряется напряженное, противоестественное дружелюбие, больше всего похожее на дрянную репетицию в самодеятельном театре. Можно было бы сказать, что это и есть «солдада», но это еще не все.

Родные и близкие, оставшиеся дома, постепенно начинают казаться страннику самыми совершенными, идеальными, чудесными существами. Все ссоры забываются, а незначительные мгновения тихого домашнего счастья, вроде бы не несущие мощного эмоционального заряда, кажутся ему райским блаженством. Постепенно путешественник перестает верить, что его близкие существуют на самом деле, он понимает, что они вовсе не живые, реальные люди, а ангелы, привидевшиеся ему во время ненадежного предрассветного сна, и поэтому воспоминания столь обманчиво похожи на реальность, хотя... не так уж и похожи. Путешественник понимает, что никогда больше не сможет оказаться рядом с ними (не потому, что не верит в благополучный исход путешествия, а потому, что понимает: этих людей никогда не было, он их придумал, а значит – все безнадежно!). И он вынужден смириться с этим знанием. Можно было бы сказать, что это и есть «солдада», но и это еще не все...

Дело в том, что друзья и родные путешественника, те, кто остался дома, отлично знают о чувствах, которые он испытывает. Они искренне сопереживают ему, но прекрасно понимают, что ничем не могут помочь: им остается только ждать, а все остальное в руках Провидения. И еще... еще они знают, что из путешествия к ним вернется (если вернется) совсем другой человек, и он будет не слишком похож на того, которого они проводили. Скорее, совсем не похож. Но они все равно ждут.

Все это вместе и есть «солдада». Мост между тем, кто доверился ненадежному темному морю, и теми, кто остался дома. Мост между людьми, которые расстались навсегда – чем бы ни закончилось путешествие. Самая светлая и самая сокрушительная разновидность тоски.

Совершенно очевидно, что французский поэт Шарль Бодлер не был португальским мореплавателем. Но его «сплин» – синоним загадочного португальского слова «солдада».

– Скажи, загадочный человек, кого ты любишь больше – отца, мать, сестру или брата?

- У меня нет ни отца, ни матери, ни сестры, ни брата.

- А друзей?

- Не понимаю, о чем вы: смысл ваших слов от меня ускользает.

- А родину?

- Не знаю, в каких широтах она лежит.

...

- Так что же ты любишь, несуразный чужак?

- Люблю облака... облака, плывущие там... далеко... далеко... сказочные облака!

Это стихотворение в прозе называется «Чужак». Оно открывает сборник, задает тон, создает настроение. Вернее, обрекает на настроение. Читающий Бодлера обречен на своей шкуре узнать точный перевод португальского слова «солдада». Ничего удивительного: любой настоящий поэт – путешественник, отправившийся в полную неизвестность. Палуба под его ногами ходит ходуном, вернуться домой невозможно, а иной берег, кажется, совершенно недостижим: поэты, увы, не столь удачливы, как мореходы. А удел настоящего ценителя поэзии – оставаться на берегу... и в точности знать, что именно испытывает тот, кто доверился воле ветра и Провидения.

«Парижский сплин» Бодлера – та самая «склянка с настоем опиума», отталкивающие и притягательные очертания которой потревожат вас в самый уютный из вечеров; эта крошечная книжечка – концентрированная «солдада», идеальный мост между поэтом и читателем, странником и тем, кто остался «дома».

Если печаль Шарля Бодлера не утянет вас на самое дно его сердца, которое вдруг по нелепому магическому недоразумению окажется вашим собственным... что ж, учите португальский язык. Или сами отправляйтесь в плавание к иному берегу, которого, скорее всего, нет.

1999 г.

Две «Эдды» как пособие по экстремальной журналистике

В эссе «Удел скандинавов» Борхес размышляет о превратностях так называемой «исторической справедливости»: в XII веке исландцы открыли Америку и жанр реалистической прозы, но оба открытия не принесли им славы. Европейские «провинциалы», флегматичные северные гордецы, они не освоили трудное, но суетное искусство исторического маркетинга и не сумели должным образом предъявить свои «достижения» мировому сообществу, поэтому любой ясноглазый школьник скажет вам, что Америку открыл Колумб – хоть головой об стенку бейся!

Еще одно открытие, сделанное средневековой исландской «ассоциацией анонимных авторов», – жанр интервью. Именно в этом жанре создана чуть ли не половина текстов, составляющих как «Старшую», так и «Младшую Эдду».

Продолжаю (под свист, топот и освежающе чвякающие хлопки гнилых помидоров). «Старшая Эдда», «Речи Вафтруднира». Краткое содержание: известный любитель разговорного жанра Один отправляется в гости к етуну (великану) Вафтрудниру, дабы «помериться с ним силой в древних познаниях». Сначала Вафтруднир задает вопросы незваному гостю; потом, когда вопросы иссякают, он предлагает ему следующий этап «соревнования»: теперь вопросы задает Один, а отвечает на них хозяин дома, всезнайка-великан. «Голову мы, гость мой, назначим ставкою в споре», – совершенно нормальный по тем временам подход к делу.

Казалось бы, при чем здесь жанр интервью? Ну, написал бы я, что белокурые викинги, сами того не ведая, положили начало игре «Что? Где? Когда?» – еще куда ни шло... Но в том-то и дело, что удивительная логика эддических текстов ставит умение задавать вопросы выше умения давать на них верные ответы. В «Речах Вафтруднира» это не столь очевидно, но уже в «Речах Альвиса» акценты расставляются окончательно и бесповоротно.

В дом Тора (это, ежели кто подзабыл, такой специальный полезный серьезный мужик, бог-громовец) на ночь глядя является подземный житель по имени

Альвис. (Что за пришелец? Что бледен твой лик? Не спал ли ты с трупом? Ты с великанами сходен обличьем...) Незванный великан, ясное дело, хуже татарина, а этот еще и жениться хочет на торовской дочке. У Тора в этой ситуации два выхода: либо драться (чего он по каким-то темным для меня и комментаторов «Старшей Эдды» соображениям делать не хочет), либо тянуть время, поскольку совершенно точно известно, что подземному жителю вредно находиться под воздействием солнечных лучей: у них от этого, знаете ли, кожа в камень превращается.

И Тор начинает «тянуть время». Помните одно из основных правил Глеба Жеглова (хлеб следователей и журналистов, кстати, имеет весьма схожий привкус): каждый человек охотнее всего рассказывает о себе, любимом? Так вот, с еще большим удовольствием ваш собеседник будет говорить о тех вещах, в области которых он полагает себя крупным (выдающимся, единственным в мире) специалистом. Тор задает Альвису бесконечные вопросы, которые до боли похожи один на другой, проблемы, поднимаемые в диалоге, сводятся исключительно к лингвистике: «Названьем каким зовется земля в разных мирах?»; «Как солнце зовется, что люди видят в разных мирах?»; «Как ветер зовут, что дальше всех носится в разных мирах?» Под конец усталый Тор осведомляется даже о точном переводе слова «пиво». Читателю (особенно неискушенному в хитросплетениях эддического миропорядка, а таких подавляющее большинство) начинает казаться, что ответ на вопрос, собственно, не имеет особого значения, тем более, что ему, неискушенному читателю, глубоко наплевать на все эти лингвистические тонкости: ну, узнал он, что пресловутое пиво «пивом люди зовут, а брагою – асы, ваны пьянящим...» и т. п. – что с того?

Впрочем, и самому Тору ответы Альвиса до одного места – как всякому опытному интервьюеру наверняка глубоко безразличен напыщенный лепет очередной знаменитости. Но Тор ведет себя как истинный профессионал. Он продолжает задавать вопросы (воображение рисует перед внутренним взором читателя выражение искренней заинтересованности на суровом лице громовержца), пока не наступает долгожданный рассвет. Засвистевшийся великан превращается в камень, все довольны. Осталось только дорисовать в своем воображении броский заголовок в какой-нибудь «Асгард-daily»: «Наш специальный корреспондент беседовал с известным лингвистом Альвисом накануне его загадочной гибели!»

«Младшая Эдда», «Видение Гюльви». Конунг Гюльви, «муж мудрый и сведущий в разных чарах», отправляется в Асгард, чтобы провести там своеобразное «журналистское расследование». Лукавые асы, прознав о его визите, насылают на любопытствующего конунга видение. Содержание видения превосходит самые смелые грезы главных редакторов: Гюльви является в Асгард и, прикрывшись псевдонимом Ганглери («усталый от пути»), берет беспрецедентное интервью у «Высокого», «Равновысокого» и «Третьего» (как, кстати, мило и нелепо смешались в сознании автора «Младшей Эдды» традиционные представления об иерархии асов и новомодные веяния христианства: в «Старшей Эдде» мы имеем дело с одним-единственным «Высоким» – Одним, а тут еще и «Равновысокий» появился, и совершенно загадочный «Третий» – чтобы мало не показалось!). Тема интервью самая что ни на есть глобальная: скажите, господа боги, чем вы руководствовались, когда начинали проект «Девять миров», и, если можно, сообщите некоторые технические подробности. Гюльви насаждает на своих собеседников с вопросами, те постепенно увлекаются беседой: ответы становятся все более развернутыми и подробными, божественная троица напрочь забывает о «служебных тайнах» и выкладывает Гюльви куда больше, чем тот хотел услышать (учитесь, господа журналисты!). Они щедро осыпают его подробностями, как эзотерическими, так и откровенно пикантными: тайны устройства Вселенной перемежаются откровенными сплетнями о коллегах по пантеону и чуть ли не стенографическими отчетами о сварах и перебранках.

«Видение Гюльви», впрочем, совершенно уникальное явление – не только в качестве образцового интервью со святой троицей. Финал этого произведения способен повергнуть в глубокий шок тех немногих героических эстетов, которые не заснули крепким сном где-нибудь в районе восемнадцатой страницы:

Пошел он прочь своею дорогою, и пришел в свое государство, и рассказал все, что видел и слышал, а вслед за ним люди поведали те рассказы друг другу. Асы же стали держать совет и вспоминать все, что было ему рассказано, и дали они те самые имена, что там упоминались, людям и разным местностям, которые там были, с тем, чтобы по прошествии долгого времени никто не сомневался, что те, о ком было рассказано, и те, кто носил эти имена, – это одни и те же асы.

Нормально, приехали! Вот уж воистину «сначала было слово»... Назовем вещи своими именами: сперва господа асы насылают на своего гостя, ему грезится, что боги беседуют с ним (и при этом несут совершенно безответственную чушь), а потом до них доходит, что ясновидец не преминет

поделиться информацией с широкими народными массами. И асы по-быстрому устраивают мир в полном соответствии со своим давешним трепом: чтобы «никто не сомневался». Я всегда подозревал, что божественная логика сродни младенческой!

Ребята, сейчас я вас здорово огорчу: мир, в котором мы живем, – это всего лишь следствие беззастенчивого вранья подвыпивших асов. Они еще и Рагнарек устроить не поленятся – опять-таки, чтобы «никто не сомневался»!

Утешает одно: в авторах «Младшей Эдды» все-таки числится не сам Высокий, а знатный исландец Снорри Стурлусон: юрист (то есть законоговоритель), политик, гениальный (как большинство его современников/соотечественников) прозаик, неудачливый поэт (в этом жанре Снорри не повезло дважды: при его жизни скальдическая поэзия доживала свой век, уступая место куртуазным веяниям из южных земель, к тому же вся Исландия бестактно ржала по поводу его хвalebных песен в честь норвежских ярлов). Есть надежда, что боги не станут перенапрягаться ради поддержания авторитета Снорри Стурлусона, и проект «Рагнарек» еще долго будет пылиться в офисе г-на Одина, в самом центре Вальхаллы...

1999 г.

Салман Рушди и Игорь Яркевич

Если верить фотографиям, Салман Рушди – в высшей степени некрасивый мужчина. И Игорь Яркевич – тоже вполне некрасивый мужчина – тут мне даже не надо ссылаться на фотографии: жить в Москве и не увидеть Яркевича практически невозможно, даже если вы выходите из дома раз в неделю, чтобы купить кефир в супермаркете на углу. На этом самом углу вас непременно будет поджидать Яркевич, который тоже пришел в супермаркет – скорее всего, за водкой... Зато некрасивый мужчина Салман Рушди, которого я видел только на фотографии, – знаменитый писатель. Некрасивый мужчина Игорь Яркевич тоже вполне знаменитый писатель, правда, он – русский знаменитый писатель, со всеми вытекающими и им же, Яркевичем, талантливо описанными последствиями. Можно сказать, этим сходство между ними и ограничивается. Хотя...

Вот например, когда к вам в гости приходит Салман Рушди – это весьма сомнительное удовольствие. Наверняка вместе с ним в ваш дом заявятся его телохранители – как минимум двое. Правда, телохранители будут абсолютно трезвыми и безукоризненно вежливыми, поскольку они состоят на службе у Ее Величества (в этом месте звучит гимн Соединенного Королевства, все джентльмены встают и снимают шляпы). Более того: телохранители Салмана Рушди скромно займут свой наблюдательный пост в коридоре или на балконе, вместо того чтобы ломануться к вашему холодильнику, а часа через три душевно исполнить нестройным дуэтом первый куплет песни «Наша служба и опасна и трудна» на безукоризненном английском языке. Хуже другое: через некоторое время по следам Салмана Рушди к вам могут заявиться арабские террористы. Скорее всего, они не менее трезвы, чем телохранители, но вряд ли столь же хорошо воспитанны. Даже не поздоровавшись с хозяином дома, они непременно попытаются убить знаменитого писателя, некрасивого мужчину Салмана Рушди, поскольку покойный аятолла Хомейни обещал им за этот подвиг миллион шайтанских дензнаков и путевку в пятизвездочный (пятиполумесячный?) Фирдаус, к пышнотелым гуриям. Остается удивляться, что на рынке компьютерных игр до сих пор не появилась какая-нибудь стрелялка-догонялка под названием «Фатва», увлекательная электронная охота на знаменитого писателя, окруженного безупречно вежливыми телохранителями, состоящими на службе Ее Величества королевы (снова звучит гимн УК, но на сей раз, так и быть, можно не вставать). Возможно, это был бы настоящий прорыв на рынке компьютерных игр в странах мусульманского мира...

Когда к вам в гости приходит знаменитый писатель Игорь Яркевич, вы можете быть совершенно спокойны: вам не придется принимать на своей шестиметровой кухне еще и двоих англоязычных мордovorотов. Знаменитый писатель Яркевич ходит в гости без телохранителей. Он вообще везде ходит без телохранителей – поскольку на кой они сдались русскому писателю, пусть даже и известному?! Впрочем, сам по себе писатель Яркевич – тот еще подарок! Вряд ли он окажется трезвым, следовательно, у него не будет решительно никакой возможности продемонстрировать вам свое воспитание (в любом случае, далеко не столь безупречное, как у телохранителей Салмана Рушди). И вообще, по здравом размышлении, становится совершенно очевидно, что если уж и стоит приглашать кого-то к себе в гости, то именно телохранителей, состоящих на службе Ее Величества, без всяких там Рушди и уж тем более Яркевичей...

Впрочем, в случае с визитом Яркевича есть свои положительные моменты. То есть, если уж вы пригласили его в гости, вы можете быть совершенно уверены, что следом за ним к вам не заявится ни один арабский террорист. Если хотите,

присутствие знаменитого писателя Яркевича – это самая надежная гарантия от появления в вашем доме арабских террористов... в том случае, конечно, если вы не сошли с ума настолько, чтобы, кроме Яркевича, пригласить к себе домой еще и Салмана Рушди, – если так, я даже не буду выпендриваться со своими комментариями: вам уже ничто не поможет!

Но вполне возможно, что вслед за писателем Яркевичем к вам заявится паратройка нетрезвых, но все еще вполне мускулистых шестидесятников, вооруженных шестиструнными гитарами и томиками мемуаров о светлых временах своей юности. Если вы думаете, что они придут к вам для того, чтобы устроить задушевные посиделки с не менее задушевым пением под гитару, вы глубоко ошибаетесь. Они придут для того, чтобы побить лицо знаменитому писателю Яркевичу, который – обратите внимание! – ходит без телохранителей, а значит – дело плохо.

Вообще-то у знаменитого писателя Яркевича есть одно очевидное преимущество перед еще более знаменитым писателем Рушди: никакую фатву на него никто отродясь не накладывал. И уж тем более аятолла Хомейни. При всем своем уважении к покойнику я готов поклясться, что Хомейни никогда в жизни не читал трудов писателя Яркевича. А если бы даже и читал – что с того?.. Какое дело грозному аятолле Хомейни до «неверных», о которых недостаточно почтительно высказывается Яркевич? Насколько я знаю, о Магомете Яркевич пока ничего не написал, поэтому для наследников покойного аятоллы он попросту не существует и никаких миллионов за его голову не полагается, а вопрос о месте в раю я вообще предпочитаю не поднимать: место в мусульманском раю за убийство писателя Яркевича – это даже не смешно! Так что нетрезвые шестидесятники будут бить лицо знаменитому писателю Яркевичу совершенно бесплатно, и это в общем-то радует. Огорчает другое: они будут делать это с удовольствием. И даже не просто с удовольствием, а с неким почти священным остервенением, подобным тому священному остервенению, с которым арабские террористы взрывали офисы издательств, опубликовавших переводы «Сатанинских стихов» Салмана Рушди...

Ох, что-то я заврался! Сгустил краски ради красного словца, выдал желаемое за действительное. Вряд ли глубоко мною уважаемые господа шестидесятники действительно будут бить морду великому русскому писателю Игорю Яркевичу. Разве что очень уж переберут, а тут он, гад такой, еще и на ногу наступит, и к молодой жене приставать начнет – даром, что некрасивый мужчина! А в противном случае морда писателя Яркевича останется в целости и сохранности,

причем без вмешательства телохранителей, состоящих на службе Ее Величества, – и сие к лучшему, поскольку эти достойные джентльмены и без того намаялись, охраняя знаменитого писателя Салмана Рушди, и конца этому, между прочим, не видно: фатва – это надолго! Можно расслабиться: у русской интеллигенции отродясь не было столько денег, чтобы назначить награду в миллион долларов за голову знаменитого писателя Игоря Яркевича. Максимум, на что способна русская интеллигенция, – это громко сказать «фу» по поводу всех букв русского же алфавита – при условии, что расстановкой этих букв на бумаге занимался Яркевич. Как он ни расставит эти несчастные буквы, в ответ все равно раздастся дружное «фу». (Если бы я переводил этот текст с немецкого, я бы непременно написал «пфуй!» – что звучит куда выразительнее, чем просто «фу», но, когда пишешь по-русски, «пфуй» звучит чересчур неестественно, так что у меня рука не поднимается заявить, будто бы русская интеллигенция действительно способна сказать: «пфуй!» – ну и Аллах с ней!)

Настал момент, когда вы вправе спросить, какого черта я, собственно говоря, несу весь этот вздор, пытаюсь, между прочим, еще и спародировать бессмертное творчество знаменитого русского писателя Игоря Яркевича (довольно неуклюже пытаюсь, если называть вещи своими именами). И еще вы вправе спросить, какого Иблиса я прицепился к несчастному Салману Рушди, которому и без меня несладко. А я к нему, собственно говоря, не «прицепился». И к знаменитому русскому писателю Яркевичу я не «прицепился». Я люблю этих ребят – вы еще не заметили? К кому я действительно «прицепился», так это к покойному аятолле Хомейни. И, конечно, к так называемой русской интеллигенции, каковая дружным хором «пфуй!» встречает каждое новое литературное произведение писателя Яркевича. При этом и аятолле, и даже русскую интеллигенцию можно понять: «глаголы» – такая мерзкая штука, что время от времени они действительно «жгут сердца людей», впрочем, к существительным, прилагательным, наречиям, деепричастиям и даже местоимениям сие утверждение тоже относится. Особенно в тех случаях, когда все эти, вроде бы безобидные, части речи попадают в руки к кому-нибудь вроде Салмана Рушди или того же Яркевича. Ребята применяют свои злокозненные «глаголы» без наркоза – каждый по-своему, конечно, но оба без наркоза.

В одной старой советской комедии был такой забавный эпизод: нетрезвый мужчина, искренне скорбящий по поводу неустроенной личной жизни, слышит, как собеседник называет имя его пассии. «Клавка? – возбужденно подскакивает наш герой. – Клавку не трожь!» То есть ему абсолютно все равно, что именно говорят о его «Клавке». Ругают ее, или хвалят, или произносят по ее поводу некую ничего не значащую банальную сентенцию. «Не трожь!» – и все тут!

У каждого из нас есть свои табуированные ценности, скромная дань рудиментарным потребностям в «святынях», к которым никому не позволено прикасаться. А эти двое, как и положено некрасивым мужчинам, с завидным упорством трогают и трогаются чужих «клавов», мужественно смиряясь с перспективой в очередной раз огрести по морде. «Но пасаран, ребята! – говорю я этим мужественным борцам за свободу трогать все что угодно. – Но пасаран! И знаете что? Можно я немного постою рядом с вами?» Черт, да я и сам знаю, что нельзя...

1998 г.

Мизантропия Герберта Уэллса

«Он выдумывает!» – воскликнул Жюль Верн, когда кто-то заговорил с ним об Уэллсе. Вымышленная или подлинная, эта фраза (особенно забавная в устах «крестного отца» научной фантастики) стала знаменитой. «Он выдумывает!» – что-то вроде каиновой печати, которая по разнарядке ставится на лоб каждого писателя-фантаста. «Он выдумывает!» – для большинства читателей это отличная приманка: детство закончилось, волшебные сказки кажутся скучными, но тяга к вымышленной реальности, каковая априори увлекательнее (хотя отнюдь не всегда привлекательнее) настоящей, требует «продолжения банкета». Пиршества духа то бишь, пардон за неуместный пафос. «Он выдумывает!» – для «серьезных» литераторов, которые и сами, честно говоря, бессовестно выдумывают (ну не было никогда студента по имени Родион Раскольников, хоть застрелись, а если и был, то его биография вряд ли совпадает с нелепым жизненным путем случайного литературного тезки), разве что озабоченно пыхтят, покрывая свои выдумки матовым лаком достоверности, это восхитительная возможность быть снисходительными к выдумщикам-коллегам даже (особенно!) в тех случаях, когда снисходительность совершенно неуместна.

С Гербертом Уэллсом мне отчаянно повезло: я начал читать его книги очень рано, лет в пять, когда приговор «Он выдумывает!» просто не мог родиться в моей голове. Я уже знал, что живые люди могут говорить неправду, если им это удобно, но еще свято верил каждому печатному слову. Если написано в книжке – значит, так оно и есть! Я тактично пытался выяснить у родителей, когда именно

было нашествие марсиан: до Великой Отечественной войны или все-таки после. Самое смешное, что спросить об этом прямо я не решался, подозревая, что у них с этим событием связаны какие-нибудь совсем уж тяжелые воспоминания, и поэтому они никогда сами не поднимают эту тему (о войне, например, мой отец рассказывал помногу и охотно). Впрочем, впечатление пятилетнего ребенка – не показатель. Замечательно, что одной из самых знаменитых жестоких шуток уходящего века стала трансляция по радио все той же «Войны миров» Уэллса, которую доверчивая и неначитанная публика приняла за экстренный информационный выпуск. Достоверная, выходит, история получилась.

О да, Уэллс выдумывает. Но его выдумки (даже самые безумные из них: человек-невидимка; хрустальное яйцо, в туманной глубине которого можно наблюдать постоянный репортаж о жизни на Марсе; цветок-людоед; дверь, ведущая не то в рай, не то к иному, невыразимому бытию) действительно пугающе достоверны. Если они кажутся таковыми даже сейчас, сто лет спустя, – господи, что же должно было твориться в разгоряченных головах его несчастных современников! Некоторых, по крайней мере.

Впрочем, у меня складывается впечатление, что в своих лучших вещах Уэллс не «выдумывает». Он использует другой метод: ухватившись за любую (нередко достаточно заурядную) идею, развивает ее последовательно, до победного (абсурдного) конца. Его логика ужасающе прямолинейна и неумолима. Возможно, именно поэтому результаты таких упражнений заставляют цепенеть. Выясняется, что человек-невидимка не может спать, пока не прикроет глаза куском ткани, – убийственно логично: его веки тоже невидимы, а следовательно, прозрачны. Люди далекого будущего делятся на две касты (скорее даже два разных биологических вида): богемные элои, не обремененные тяготами повседневности, и чудовищные подземные пролетарии морлоки, которые эту самую «духовную элиту» прикармливают, а потом... того... ням-ням, в общем. Ужасен даже «новейший ускоритель», приняв который, герои рассказа оказываются в неподвижном, застывшем мире, где падающий стакан будет часами приближаться к полу: оказывается, можно застрять в одном-единственном мгновении, как мошка в янтаре, но, что еще ужаснее, – передвижение по такому застывшему миру грозит неизбежным возгоранием (на сей раз Уэллс был великодушен, его персонажи все-таки не сгорели заживо – а ведь могли бы!). Даже в одном из самых забавных рассказов Уэллса «Правда о Пайкрафте» угадывается все та же абсурдная прямолинейность: толстяк хочет избавиться от ожирения, каковое тактично называет «лишним весом», получает некий древний восточный рецепт снадобья и – взмывает к потолку, поскольку избавился не от жира, а именно от веса.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: <https://tellnovel.com/ru/maks-fray/kniga-dlya-takih-kak-ya>

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)